



Е. АНИЧКОВ

Вячеслав Иванов и вся плеяда

Бальмонт и Брюсов не пошли за Мережковским. Иные их потянули к себе поэтические дали. Но «богоискательство» и прежде всего возврат к Владимиру Соловьеву не угасли. Костер, напротив, разгорелся новым пламенем.

В том же 1903 г. появились «Кормчие Звезды» Вячеслава Иванова, и вскоре он сам переселился в Петроград.

Давно еще студентом, учеником Виноградова, уехал за границу, сначала из историка превратился там в эллиниста, долго оставался студентом: и в Италии, и в Париже, и в Германии; шли годы, ширилась образованность и слагалось свое собственное миропонимание, а университетская наука не то все не открывала перед ним двери своих почестей, не то не смогла вместить. Наконец возвратился на родину поэтом.

Именно поэтом; отнюдь не литератором. Но литературный мир сразу узнал о нем. Сразу Вячеслав Иванов стал лицом значительным. Только нельзя сказать, чтобы литературный Петроград радушно его принял; скорее наоборот; это Вячеслав Иванов принял тех, кто был ему интересен и близок из литературного мира; вместе с женой, интересной и своеобразной писательницей Зиновьевой-Аннибал, радушно, в самом прямом смысле этого слова, стали они принимать по средам в скромной квартире шестого этажа на Таврической. Дом этот угловой, очень высокий, и гостиной служила комната, выходившая фонарем на две улицы. Отсюда быстро ставшее известным прозвище: «на башне». По средам «на башне», как на какую-то арену, ярко залитую светом самой изощренной требовательности, выходили в продолжении

нескольких лет русские символисты, неся на суд и похвалу свои новые достижения. Обновлялись и получали поощрение чаяния и грезы поэтов и художников. Не просто «на башне», на высях побывали. Так и жилось от среды до среды.

Прежде всего сам Вячеслав Иванов. Он отдался весь, тому, что происходило по средам. И для него подводился на них какой-то итог долгих еженощных бдений, потому что если по средам гости расходились не ранее утра, все остальные ночи Вячеслав Иванов проводил, только уже одиноко, среди тех же поэтических восторгов, сомнений и мистических порывов.

Едва ли можно назвать другого поэта, которого все существование, вся личная жизнь в такой мере поднялась бы до постоянного, превратившегося в какое-то основное занятие или служение, экстаза, прерываемого лишь несколькими беглыми и короткими часами обыденной жизни. Да еще и прерывался ли на самом деле? А ночной его экстаз вовсе не был просто вдохновением поэта, пишущего стихи. Больше и глубже:

Дан свыше мне дар научиться
Верховным урокам. Дано мне
Себя в сокровенном соборе
Отныне в лицо узнавать.
Могу ночевать на просторе,
Голодного волка бездомной;
Могу и к себе постучаться
И в доме своем почивать.
Могу как пришлец запредельный,
Изгнанник забытого тела,
Входить в эту храмину страсти
И кузницу воли моей —
И двигать послушные снасти,
Владея кормилом умело,
В мятежной толпе корабельной
Моих соименных теней.
Затем что — сказать ли вам диво? —
Я в дебрях своих сиротливо
Блуждал и набрел на обитель,
Где милая сердцу живет —
И с нею таинственный Житель.
Всю ночь вечеряли мы трое
В просторном и светлом покое:
С тех пор мое сердце цветет.

Эти строфы названы «Мой дом»¹. Его экстаз по ночам «на башне», и позже в Москве — проникновение, достигающее высших степеней мистического созерцания.

Отсюда, не переставая, излучается из этого человека творческий пафос. И заражал, питал, зазывал в горние пространства не только всю плеяду окружавших его начинающих поэтов, но старших, своих сверстников — Брюсова и Сологуба, даже Мережковского. Тянуло к нему, потому что и ласкала, и дразнила его дружба.

Зато вот почему понять Вячеслава Иванова только через посредство его стихов невозможно. Вместе с Гёте — а по-видимому через Гёте, как сквозь очистительный пламень, прошло его раннее ученичество поэта — Вячеслав Иванов часто говорил, что лучшие стихи всегда «по поводу». Повод может быть внешний, т. е. встреча или пережитое, либо внутренний: ярко мелькнувшее прозрение, взволнованность чувств пробужденных. Животворит и тот, и другой. Ведь вообще лирика — самое прекрасное и жизненное достижение живой души. За ней притаился, однако, еще некий другой, невысказанный, «внутренний поэт». Это выражение принадлежит Н. В. Недоброву, одному особенно близкому Вячеславу Иванову молодому, мало печатавшемуся и теперь уже скончавшемуся поэту², глубоко вдумывавшемуся в тайны поэзии. «Внутренний поэт», — Вячеслав Иванов, — целое миропонимание, и его-то всего важнее выяснить, а стихи, как звезды, вспыхивают, чтобы заблестать, отделившись от некоей постоянной, длительной и основной прозрачности его гения.

Так не сказался весь Петрарка в своей лирике, не говоря уже о Данте. А Данте еще охватила потребность стать самому своим толкователем. Отсюда проза в «Vita nuova». Чтобы проникнуть в сущность поэта Вячеслава Иванова через посредство его стихов, нужны были бы обстоятельные схолии для его трудных, потому что они не могли распрощаться с внутренней тайной, стихотворений.

Вот эти две строфы, может быть, введут в чарующую богатость его долгих, молитвенно-жертвенных ночных бдений:

Пустынно и сладко, и жутко в ночи,
Свирельная нота, неотступно одна —
Плачет в далях далеких... Заунывно звучи,
Запредельная флейта, голос темного дна!

То ночь ли томится, или шепчет кровь
Ах, сердце — темница бессонных ключей!
Твой зов прерывный вернул мне вновь
Сивиллинские чары отзвучавших ночей!³

Дары «сивиллинских чар» в томленьях ночей расточал Вячеслав Иванович как богач,

...чтоб в тихом горении дней
Богач становился бедней и бедней⁴.

Расточал чары. Оттого окружила его так тесно вся плеяда поэтов следующего поколения.

* * *

В той же квартире вместе с Вячеславом Ивановым и Зиновьевой-Аннибал поселился изнеженный и изощренный поэт, тогда едва ли кому-нибудь, кроме друзей, известный, М. Кузмин, а самым близким и частым гостем стал такой же изнеженный и изощренный художник Сомов. Каждая по-своему до болезненности своеструнная талантливость их обоих, вместе с бурным и страстным трепетом восторгов сохранившей всю живость молодости Зиновьевой-Аннибал, окружала Вячеслава Иванова воплотившейся в явь поэтической сказкой, очень современной и живящей; он как бы спускался с высей своих ученых и мистических проникновений в современность, беря от нее то, что в ней было самого изысканного, отвечающего наибольшей требовательности вкуса и поэтической мудрости.

Отсюда светскость сред на башне в самом лучшем смысле этого слова, светскость, и сама по себе присущая хозяйке дома, Лидии Дмитриевне, возводившей бурность своего нрава к «арапу Петра Великого». Да, на башне чувствовалось сквозь внешний налет поэтической богемы непринужденность, доступная только благовоспитанным людям, и особенно таким, которые одним присутствием и других умеют вводить в накатистую колею любезности и простоты отношений.

Начинались среды обычно чем-то вроде ученого диспута. Председательствовал почти всегда молодой тогда философ Бердяев. Спорили и говорили парадоксы. При этом по какому-то молча-

ливому соглашению никогда о книгах⁵. Начитанность должна была быть превзойдена и оставлена дома, только от себя надо было высказываться, и не разводя публицистику, а поднявшись над переживаемой минутой; если удастся, то пусть в аспекте вечности. Тут выступали гости — не поэты: профессора Ростовцев, реже Зелинский, высоко ценившие Вячеслава Иванова, как эллиниста, и другие, случайные, часто из любопытства добивавшиеся приглашения в это святилище; чаще других бывал Луначарский. Слушал эти споры, молчаливо сидя в стороне, заколдованный своей еще не высказанной мудростью Федор Сологуб. А сам хозяин, прохаживаясь по комнате, прежде всего, всех примирял и досказывал мысли, угадывал все ценное, что кто-либо сказал, и уже этим самым любезно, но уверенно, поучая.

Ему, однако, редко удавалось договорить какое-либо свое сложное, ученое и возвышенное прозрение.

Врывалась, всегда облеченная в загадочные античные разноцветные хитоны, подобранные ей Сомовым, Лидия Дмитриевна и объявляла, что довольно умничать, поэты хотят читать свои стихи. Они уже шумели и шалили в соседней комнате, потому что все они были тогда еще юны и веселы, а быть мальчиком, шутить, радоваться всему, что бодрого дает жизнь, полагалось. Ведь прозвучали уже в этом смысле стихи о солнечности Бальмонта. И споры часто обрывались. Стихи! Стихи! Как ими было не загореться в этом поэтическом доме.

Гурьбой входили поэты; их бывало много.

Особенно знаменательны те среды, когда Кузмин, одновременно и композитор, и поэт, пел сначала свои «Александрийские песни», а после «Куранты Любви», или когда читал он своей своеобразной ритмической скороговоркой «Любовь этого лета». Отсюда пошла его известность. Весь Петроград, блестящий огнями там внизу, за Таврическим садом, будто слушал то, что читалось «на башне». Слушал, потому что прислушивался тогда к поэтическим событиям, а на Башне они чередовались, неугомно, не переставая и никогда не спускаясь до какой бы то ни было, даже самой новомодной рутины. Оттого, когда в одну и ту же ночь Александр Блок прочел на башне «Незнакомку»⁶, а Сергей Городецкий свои стихи об Удрасе и Барыбе, вошедшие в его лучший, первый сборник «Ярь»⁷, в эту среду русская поэзия обогатилась двумя новыми и не дальше как через две недели всем литературным миром признанными поэтами, признанными, хо-

тя, конечно, непонятными и высмеиваемыми за свои странные новшества.

Тут же, приезжая из Москвы, Андрей Белый, на распев под «Чижика» — это ново было в то время, — не то проговаривал, не то напевал свои стихи о том мертвце, что лежал в гробу с костяным образком на груди и слышал своей бессмертной душой, как отпевал его дьякон, звякнув кадилом. Тут же поведал он и о подружившихся со своих похорон жулике и воре, таких беспокойных и лихих, выходивших из могил, чтобы по ночам нет-нет и обойти кладбищенский собор. Первые написанные главы «Петербурга» были тоже прочитаны «на башне».

Особенно близки были Вячеславу Иванову в те годы еще трое до сих пор не приобретших широкой известности, но глубоко образованных знатоков формы и литературной истории, русской и иностранной, поэтов: Юрий Верховский, впоследствии профессор западно — европейских литератур, Владимир Пяст (Пестовский), переводчик Тирсо де Молина, и Владимир Княжнин, издатель Аполлона Григорьева.

Всех, бывших на башне, конечно, и не перечтешь: кроме названных, поэтессы Allegro (Поликсена Соловьева), веселая и не по-женски умная Теффи⁸, Вилькина⁹, если бывала в Петрограде; позднее, когда возникло общество Ревнителей Русского Слова, собиравшиеся в редакции «Аполлон»¹⁰, примкнул Гумилев; настоящее поэтическое ученичество проходили под руководством Вячеслава Иванова не только Мандельштам и Ахматова, но еще и Хлебников. Далеко вперед, уже на новые побег поэзии, распространилось этим влияние Вячеслава Иванова. А те, кто вовсе не прияли его, или, появившись «на башне», как бы удержались на той высоте, — надо это признать: Иван Бунин, А. М. Федоров, Волькенштейн, Дмитрий Цензор, Годин, если в ходячей журнальной литературе они и приобрели популярность, ведь вовсе не достигли настоящей значительности.

И не одни поэты бывали тут, слушали уроки поэтической мудрости, художники, среди них кроме Сомова ближе других — Бакст, музыканты: Сенилов, Гнесин, из прозаиков: Алексей Ремизов, Ауслендер, Чапыгин, граф Алексей Толстой, Георгий Чулков. А всем театральным деятелям памятна и знаменательна первая, осуществившая его мечты и искания, постановка в небольшой гостиной «на башне» «Поклонения Кресту» Кальдерона Всеволодом Мейерхольдом¹¹.

* * *

Все это по средам, а в остальные ночи, когда сам с собою оставался уже «внутренний поэт», Вячеслав Иванов?

Возврат к Достоевскому знаменовался прежде всего разрывом с религиозным учением Толстого; оно стало казаться слишком рассудочным; влекло к обновлению православия и к жертвенному христианству; манила к себе мистика, связь которой с символизмом становилась все яснее. Так чувствовали и думали почти все окружавшие Вячеслава Иванова, подходя к самому Вячеславу Иванову по другому пути. Не о возврате к Достоевскому пойдет речь, если вдумываться во «внутреннего поэта» Вячеслава Иванова, а скорее о следующем, третьем этапе русских углубленных исканий, которому предшествуют два первых: Достоевский и Лев Толстой.

Проблема о личности, уверовавшей, что «социальная система, выйдя из какой-то математической головы, тот час же устроит все человечество»¹² — вот что мучило всю жизнь гениальный мозг Достоевского. Не толкнет ли бесовское наваждение эту личность на преступление? Убьет Раскольников ростовщицу, а Верховенский Шатова, и если Иван Карамазов сам не станет отцеубийцей, так ведь еще хуже, убогий ум Смердякова, наслушавшись его рассуждений, совершит это дело, и все равно всей своей тяжестью на Ивана Карамазова ляжет ответственность даже двойная, потому что жертвой искупления окажется Митенька. И тогда раздастся иступленный крик: «смирись, гордый человек», «целуй землю»¹³. Гордыня погубила; ничто — теории, вышедшие из математических голов; в человечестве, в народе правда, потому что народ не ушел от послушания Божия; он со Христом и во Христе. Но сейчас же осложняется дело. Рогожин ведь тоже народ. И на каторге народ. И народ преступен. Какая-то безысходность: «один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет с молитвою»¹⁴. Запутывается, громоздится, топчется в противоречиях мысль, пока не воскликнет кто-то, что нужен тут «благонадежный трезвый человек», который бы хоть посоветовал, если не сможет вывести из этого тупика.

Таким «благонадежным трезвым человеком» ведь и хотел стать Лев Толстой; его, конечно, не надо противопоставлять До-

стоевскому, а скорее видеть в нем продолжателя. Лев Толстой, всегда подтверждавший всякое свое мнение тем, что именно вот так думает девяносто девять человек из ста, несомненно старался рассуждать наиболее трезво и этой трезвостью своею надеялся вывести как раз из того тупика, в котором столько откровений обрел Достоевский.

Толстой и Достоевский — два последовательных этапа русского культурного развития особенно тем, что и вся остальная литература, менее глубоко раздумывая, проходила через те же, что и они, трудности и осложнения. От «Кто виноват» Герцена, через все эти споры о «Лишних людях» и «Отцах и детях» тянется, развивается, клубится проблема о личности, уверовавшей в социализм, и привходящие сюда же прочие теории: и о женской эмансипации, и о ниспровержении авторитетов, и о религиозном свободомыслии, так до самой «Критически мыслящей личности» Миртова-Лаврова и его журнала «Вперед», даже до «Народной воли» и возникновения терроризма, т. е. до преступления. Осложняется, остроту свою приобретает проблема при столкновении с народничеством, выкинувшем знамя «Земли и Воли». А в восьмидесятые годы, т. е. как раз, когда начнется проповедь Толстого, завершившего свое художественное дело, народничество торжествует. Забывается эта проблема о личности, как бы перестает мучить, также в последней своей фазе, в фазе «розни интеллигенции и народа». Все через народ, и для народа, не «хождение в народ», а вместе с ним, ибо он тоже хочет того же самого, на осуществление «вышедшей из чьей-то математической головы теории». Как будто действительно смирился уже гордый человек, только по проверке оказалось, что он был прав, так как народ с ним. Тогда — два пути: либо старое народничество, которое превратится в доктрину социал-революционеров, либо марксизм, но то и другое мыслится, как полная сопряженность интеллигенции и народа, личности с целым.

Лев Толстой был самым последовательным из народников, потому что он то уж не только пренебрег теорией, а старался ее совсем и не знать, игнорировал ее. Думать и чувствовать только как народ, опроститься, повернуть спину ко всему, что интеллигенция. И вот тут, в этом-то душевном состоянии, он встретился с вполне народной верой, народным богоискательством: штундистами и духоборами, на которых и Достоевский в конце своих дней обратил внимание в своем «Дневнике писателя». Тогда

прояснилось, тогда как будто стало очевидно, что должен проповедывать «благонадежный трезвый человек» — толстовство. А что такое толстовство. А что такое толстовство, как не осуществление этого исступленного порыва Шатова: «я буду верить в Бога»? Да, верить в Бога, потому что народ верит, и оттого-то теперь именно у Толстого становятся понятными эти неожиданные слова Шатова: «Бога можно добыть трудом и именно трудом мужицким». Завершилась мука искания и, казалось бы, найден выход и найден именно Львом Толстым.

Нет, не был найден. Опять проблема о личности, и личности, уверовавшей в теории, о гениальной личности самого Льва Толстого и ее столкновении со средой, с тем же народом, с государством. Опять трагедия, и закончится она лишь этим поразившим всю Россию предсмертным бегством из родной Ясной Поляны. Бегство это было понято, как последнее подвижничество, и ради него так молитвенно, с охватившим даже самые зачерствелые сердца благочестием отозвалась вся думающая Россия на смерть Льва Толстого. И надо ли смотреть на это, как на незначущую подробность, что когда особенно чтившие и близко подошедшие к учению Льва Толстого студенты помянули его память — это было в Технологическом институте — они обратились к Вячеславу Иванову. Смутно чувствовали подсознательным прозреньем, что от него услышат слова близкого Толстому, хотя и по-иному продуманного, религиозного проникновения.

* * *

Вячеслав Иванов назвал народническое начало «соборным», а личное «келейным», ибо либо соборно, либо келейно — и тогда в тиши отобщенности — возносится к Богу молитва. А их сочетание и спор — жертва искупления.

Звено между обоими началами — мистерия. Посвящается избранный в тайну и достигает этого постом, внутренней работой, молитвою, экстазом; тогда приобщается он, получая посвящение из рук тех, кто уже достиг. Не гордыня, как думалось Достоевскому, жертва — удел посвященного. Не хотел ее увидеть Достоевский. Так во всех обыкновенных и обыденных делах и убеждениях, которыми приводится в движение жизнь людей, т. е. и в политике, и в социальном строительстве, и в науке; то же и в высших достижениях, приближающих к Престолу Всевышне-

го. Теории зарождаются не в одиноких математических головах, а в долгих бдениях взыскующих посвящения в тайну. Любимым выражением Вячеслава Иванова была эта латинская формула: *a realibus ad realiora*¹⁵, ибо поистине реальна, а вовсе не призрачна или только рассудочна, как учат немецкие идеалисты и как воображалось их ученикам, романтикам, земная жизнь; но земная жизнь лишь преходящее.

Зане твой склепный свод
Родные ложесна — чье имя — небосвод¹⁶.

Сплетаются две реальности. Тот, чье прозрение только в низменно реальном, разумеется, скажет:

Я буду тлеть в могиле,
Земля ж невестою цвести в весенней силе;
Не тронет мертвых вежд не им рассветший свет,
И не приметит мир, что в нем кого-то нет,
Как не заботится корабль в державном беге
О спящем путнике, оставленном на бреге»
Ему тогда только оповестить:
Знай: брачного твой дух не выковал звена
С душой вселенскою, в чьем лоне времена¹⁷.

Если дано ему, устремится он тогда к высшей реальности и превзойдет стезю посвящения, не только для дела этой здешней юдоли, но и вечности.

Такова основа мирозерцания этого ученого-эллиниста, для которого христианство — прежде всего религия «страдающего бога». А стало быть, Ветхий завет — не только Библия, но и мистерии эллинов. Уже Владимир Соловьев — переводчик Платона, назвал античную философию Ветхим Заветом. Учение о Слове Божиим предчувствовали и прозрели еще косневшие в язычестве ученики Платона. Вячеслава Иванова влекла к себе неразгаданная тайна того еще языческого страдающего бога Диониса, и отсюда ученое исследование о его культе, тоже, как христианство, пришедшем с востока, тоже, как христианство, сочетавшем воедино жертву и Бога своего, культ искупления через страдания бога. И оттого, как поэт, грезил он менадами, «Бога-Вакха зазывал»¹⁸, и экстазом бурного и буйного дионисийского действия горело воображение. Тут, казалось, разрешение

противоречия между келейностью и соборностью. Совершающие келейно в тиши ночной, в тайне капищ, закрытых для непосвященного, как бы вырываются из уединения и зовут в неудержимом порыве весь народ на соборное служение и приобщается тогда народ, и тут, конечно, главное, тут высшее достижение и высшая жертва.

Опять от реальности к высшей реальности, т. е. от фактов, которые устанавливает история человечества, к вечным истинам и вечной совершеннейшей тайне христианства. Разве не предопределение Божие вело человечество через все прежние стадии религиозного сознания к вере в Истинного Бога?

Непроницаемой тайной облечено учение о жертве Христовой. Как понять жертву во Христе? Ведь это не только аскетизм и бичевание плоти. Каждый новый факт жизни человечества, каждая реальность, воспринимаемая или осуществленная человечеством в пространстве и во времени, представляется Вячеславу Иванову жертвой во имя высшей реальности. Оттого вместе с Браунингом и с ученым Фрезером¹⁹, построившим на нем целую воображаемую религию, влекло к себе поэта предание о том жреце, капище которого еще в развалинах уцелело около Рима в Неми, где каждый новый жрец убивал в ратоборстве своего предшественника и сам погибал от руки того, кто окажется сильнее²⁰, был, как выразился Браунинг, «убийцей, умертвившим убийцу, чтобы самим быть умерщвленным». Не такова ли судьба всякой личности, отдавшей себя какой-либо теории и ставшей ее жрецом и одновременно жертвой? Но не такова ли судьба народов, осуществлявших теории, либо падают они жертвой новых, сменяющих старые теории, и нет пощады, а именно так, как сказано в стихах о «Кочевниках красоты»:

Топчи их рай, Аттила, —
И новью пустоты
Взойдут твои светила,
Твоих степей цветы!²¹

Строит, строит невидимый храм земля Святорусская, строит руками своих святителей, и придет Матерь Божия, сама обласкает и поощрит строителей, но тогда не откроется «незримое благолепие». Только скажет Матерь Божия:

Уж вы Богу присные угодники,
А миру вы славные светильники,
О святой Руси умильные печальники!
Вы труждайтесь, подвизайтесь,
Красы-славы для церкви незримые,
Зодчеством, красным художеством,
В терпении верном, в уповании!
А времен Божьих не пытайте,
Не искушайте, не выведывайте²².

* * *

«Царство Божие» не только «внутри нас», но и мы внутри Царства Божия. Оно всюду кругом, потому что все сущее и создано, и руководится Вседержителем. Надо ли делать различие между Предопределением Божиим и всеми этими теориями, вышедшими из разных «математических голов», которые наш «младенческий язык» со своим «нищим сверканием» назвал детерминизмом явлений, биологическими или социологическими законами, эволюцией или прогрессом? Лишь укрепилась вера поэта и ученого, прошедшего через все горнила современной университетской учебы:

И к о н а²³

«Господь Вседержитель» —
Слова на иконе.
Кто в злате? Кто в славе? — Христос Иисус.
Не ветхий деньми Родитель
На мысленном троне,
Но Спутник друзей в Эммаус!
Человек
И брат мой, Ты — Вседержитель,
Начальное Слово и мира Творец?
О, двор багрецом убеленных овец,
Родимая путь уследивших обитель,
Тын Отчий! Навек
Прими меня, Вера, в святую ограду,
Ягненком причисли к словесному стаду,
Чтоб мог я безумьем твоим разуметь,
Любовью дерзать и покорностью сметь!

Оттого проблема о «келейном» и «соборном» началах, о личности и целом, эта русская заветная проблема об интеллигенции и народе — проблема об обобщенном и приобщившемся тайне и остальном коснеющем в обыденности человечестве.

Не хочет перестать спор, и не разрешена проблема. Противоречие между ними с такой словно изваянной из камня точностью и сжатостью выразил Вячеслав Иванов в своей

*Sacra Fames*²⁴

Мудрость нудит выбор: «Сытость — иль свобода».
 Жизнь ей прекословит: «Сытость — иль неволя».
 Упреждает Чудо пламенная Воля;
 Но из темной жизни слабым нет исхода.
 Мудрость возвещает, что Любовь — Алканье.
 Жизнь смеется: «Голод — ненависть и злоба».
 И маячит Слова нищее сверканье
 Меж даяньем хлеба и зияньем гроба.

Но вот, преодолев свой «ветхий завет», родную ему мудрость и красоту эллинизма, поэт во власти уже чисто христианской грезы. Античный эрос, связующий воедино все, казалось бы, расчлененные части мироздания, превращается в учение о любви, той любви, что по слову Петрарки, «от выси в высь и от мыслей к мыслям»²⁵ вела его поэтические мечты.

Да, от зазывания Бога Диониса, от античной эротике к христианской любви, к *fin amor*, воспетыми трубадурами Прованса, этими учениками схоластиков и проповедников альбигойских изводов манихейства²⁶. От них научились итальянцы своему «сладостному новому стилю» и изображением лучших из них оплел Данте точно венком мистических цветов и Рай, и Чистилище, и Ад, и Вергилия, и Беатриче. Любовь — связующее начало. Любовью преодолевается трагедия. Только любовью создается общение. И тут опять от реальности к высшей реальности, от любви как бы келейной, личной, любви плотской и влюбленности, дальше и шире, через дружбу, любовь к ближнему, к отечеству, народу, «любовь к дальнему»²⁷, и к вещам и призракам; и так до высшего, на этот раз уже вновь в сопряженности «келейного» и «соборного» начал, до мистической любви к Богу. Любовь — одна, ибо единое сердце страждет ее «Алканьем» и радуется сладостью ее. Венера или Мадонна? — мучился Достоевский.

Плотская или эгоистическая любовь или любовь — к ближнему? — терзал себя Лев Толстой и как бы углублял между ними ров, становившийся пропастью, потому что все более и до изумерства в «Крейцеровой Сонате» унижал любовь к женщине. Но мирит обе любви прозрачная влюбленность, эта *fin amor* схоластиков и трубадуров; через нее уже, как сквозь распахнувшиеся врата, уготован вход в чертог благодати, т. е. путь, ведущий ко всем духовным видам любви. Владимир Соловьев, с такой отчетливой проникновенностью уже выразил эту сердечную связь любовных алканий в «Трех Свиданиях»:

Все видел я, и все одно лишь было:
Один лишь образ женской красоты!
Безмерное в его размер входило...
Передо мной, во мне — одна лишь Ты.

Так явилось уже раньше русскому сознанию некая теория, вышедшая не из «математической» головы, а из просветленного сердца поэта. Вот этот завет Владимира Соловьева взлелеял Вячеслав Иванов.

Его сборники: «Эрос» (1907), «*Cor ardens*» (2 т. 1911–1912), «Нежная тайна» (1912), — любовная поэзия еще небывалой в русской литературе углубленности. И не довольствуясь своей собственной любовной лирикой, он еще переводил Петрарку и Новалиса, точно рассевая вокруг себя цветы любовных мистических дум в этот черствый век, когда, дойдя до последней черты сердечной огрубелости, каждодневная литература стала проповедовать, что любовь — это проблема пола. Нет. Должна воссиять любовь; должно прозвучать все ее ликующее и победное песнопение от реальности к высшей реальности, от плотской страсти до одухотворенной влюбленности! Это ожидание выразил Вячеслав Иванов в таких строках:

Немеет жизнь, затаена однажды,
И смутный луг,
И перелесок очурался каждый
В волшебный круг...
Немеет в сердце, замкнутом однажды,
Любви тоска;
Но ждет тебя дыханья трепет каждый —
Издадека²⁸.

Ждет Русь, истерзанная враждой, ненавистью, долгой, упорной, все более зверевшей, пока не разразилась остервенелым междоусобием. Ее кроткую и примиряющую. Ее благословенную, преодолевающую всякое испытание Святую Любовь ждет Русь, ибо лишь в любви спасение.

* * *

Мы вернулись к «внешнему поэту» Вячеславу Иванову, ибо «внешний» поэт Вячеслав Иванов почти исключительно лирик, и лирика его любовная.

Достоевский и Лев Толстой закончили свое писательство выходом на площадь. Достоевский — в «Дневнике Писателя», а Лев Толстой всей своей проповедью, начатой как раз в год смерти Достоевского. Вячеслав Иванов остался в стороне от событий и тогда, когда годы войны и распрей уничтожили и разрушили его спокойное учительство в кругу избранных. Всклубился вихрь, завертело, заклокотал водоворот ужаса и преступлений, и теперь Вячеслав Иванов остался один, потеряв всех своих близких. Он отвечал на события от времени до времени, и прозой, и стихами, но того, что считал завершением подвига, т. е. «соборности», не достиг. Правда, еще тогда, в счастливые годы, Георгий Чулков убедил его выступить с ним вместе, провозгласив «мистический анархизм»; однако очень быстро Вячеслав Иванов охладел к этой затее, увидев всю тщету быстрого и слишком по-журнальному публицистического проявления сложных и трудных принципов, плохо укладывающихся в легкомысленные повременные статьи. Он все еще понятен только избранным.

Назначение поэзии Вячеслав Иванов назвал «мифотворчеством».

Чтобы вникнуть в смысл этого термина, надо вновь вернуться к исходной точке его мирозерцания, к признанию античной философии Ветхим Заветом. Если отнюдь не кощунство видеть пророчество в варварском и языческом культе страдающего бога, Диониса, то и слово: миф не надо отбрасывать так пренебрежительно, как это делали древние книжники наши, назвав их «баснями жидовскими и кощунами эллинскими»²⁹. Религия неизменно требует и просит мифа. Миф вовсе не есть догмат. Поэт, считающий себя мифотворцем, нисколько не посягает на учительство в церкви. Миф — иносказание, призыв воображения, какое-то одному ему свойственное вступление, вводящее

в вечную мудрость. Миф может быть апокрифом³⁰, его признает тогда церковь нечестием и соблазном. И убоилась этого соблазна церковь; оттого отбросила в первые века всю поэзию целиком и все художество, и сбрасывались великие создания искусства со своих цоколей, влекли их на веревках в реки, разбивали и ругались над ними; сжигались памятники непревзойденного совершенством зодчества. Но прошло немного веков и не сама ли церковь в школах своих ввела в курс обучения поэзию языческих времен, храмы же свои стала украшать с той же, может большей, чем во времена язычества, роскошью и лепотой. Нужен миф малым сим, нужен миф для восхождения от реальности к высшей реальности. Неправда, что искусство — это игра и роскошь, забава, исторгающая лишние, ненужные для жизненной борьбы силы. Неправда, что рассказы, сюжеты, образы, вся пестрота, созданная и создаваемая поэтами, лишь блажь воображения, доставляющая радость любованья.

Религиозное назначение искусства — а никакого другого нет, когда речь о настоящем искусстве — разумеется, не в прикладном, а в философском смысле этого слова; Лев Толстой отождествил его с наставлением. Это соответствует его пониманию религии. Для Вячеслава Иванова искусство, и искусство символическое, по преимуществу, и есть та связь между «келейным» и «соборным» началами, между интеллигенцией и народом, отсутствие которой так ужаснуло, мучило и Достоевского, и Льва Толстого. Но не простые формулы здравого смысла красные вымыслы мифотворчества, и оттого общедоступность вовсе не высшая похвала.. И мы знаем, что лишь через посредство все множасьего числа посвященных проникают великие тайны в соборное сознание.

1923

